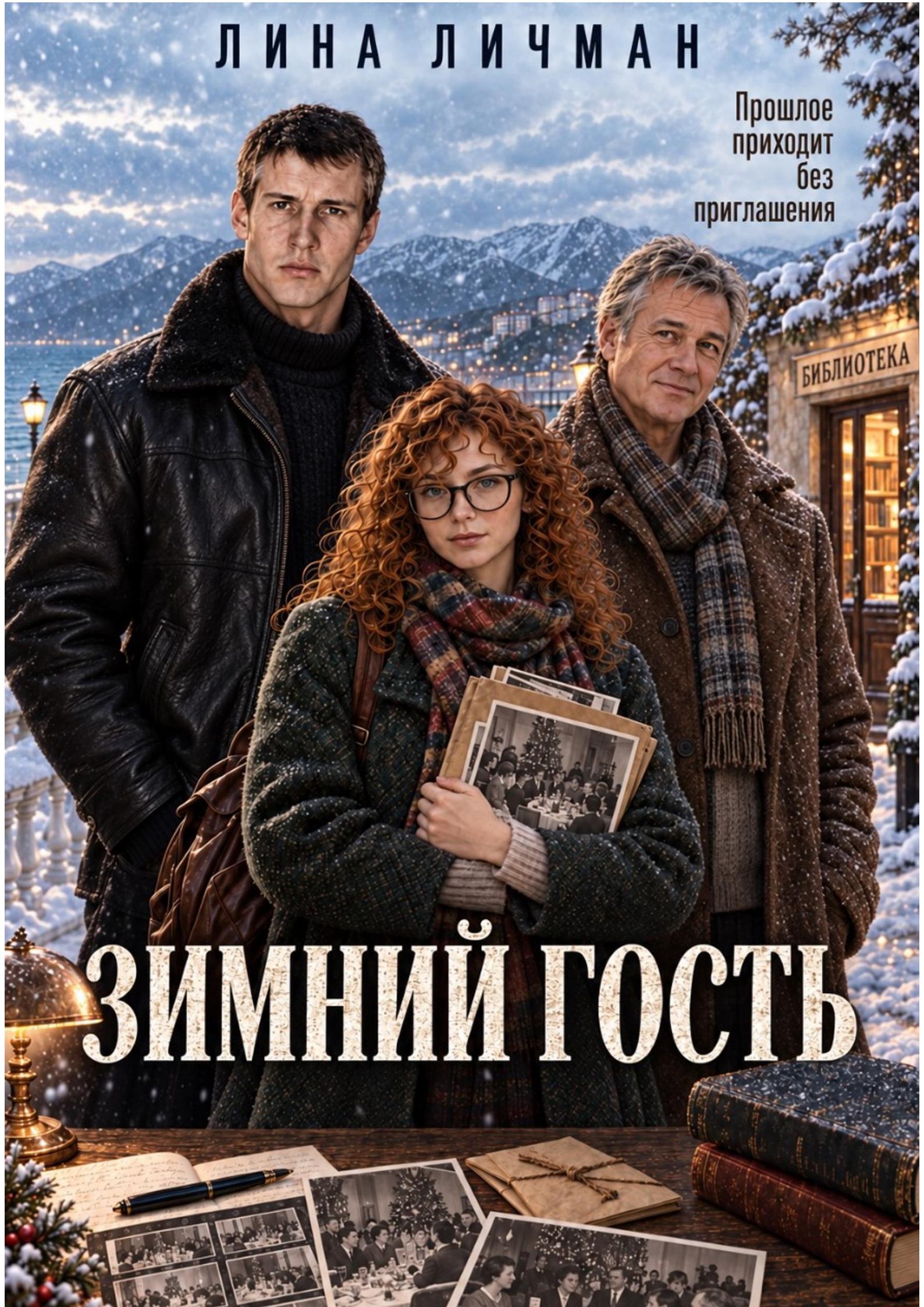


ЛИНА ЛИЧМАН

Прошлое
приходит
без
приглашения

БИБЛИОТЕКА

ЗИМНИЙ ГОСТЬ



Лина Личман

**Зимний гость, или Прошное
приходит без приглашения**

«Автор»

2026

Личман Л.

Зимний гость, или Прошлое приходит без приглашения /
Л. Личман — «Автор», 2026

Она просто хотела, чтобы этой зимой дома было тепло и спокойно. Но прошлое не спрашивает, вовремя ли оно пришло. Таисия Синичкина знает: чужие тайны лучше не трогать. Особенно после того, чем обернулось её первое расследование. Но в заснеженном городе слишком многое остаётся недосказанным, а привычка задавать неудобные вопросы никуда не делась. Один кадр, одна забытая история — и тихая зима превращается в череду опасных открытий, старых долгов и непростых решений. Обиды, о которых не говорят. Молчание, которое легко принять за забвение. И люди, чьего возвращения ждут годами — пока не разучатся ждать. Но прошлое возвращается не только за прощением. Иногда ему нужно убедиться, что никто не нарушит тишину. Как отличить раскаяние от очередной лжи? Кому открыть дверь? И можно ли дать второй шанс, не предав себя? Это история не только о расследовании. Это история о семье, о доверии, о смелости быть рядом — и о прошлом, которое приходит без приглашения.

© Личман Л., 2026

© Автор, 2026

Лина Личман

Зимний гость, или Прошлое приходит без приглашения

Все персонажи и события данного произведения являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми, организациями или событиями случайны. Действие романа происходит в 1996 году.

В ту зиму Геленджик замёрз — и замёрз так обиженно, так не по чину, будто море, горы и весь курортный божий промысел сговорились исключительно мне назло.

Снег у нас вещь редкая, вроде честного гаишника или непьющего соседа: вроде бы и бывает, но застаёт врасплох каждый раз. И когда он повалил — крупный, ватный, серьёзный, — город не обрадовался, как обрадовался бы любой нормальный город. Город оскорбился. Геленджик к снегу был приспособлен примерно так же, как я к большому спорту. Пальмы на набережной стояли в сугробах с таким видом, будто их голыми выставили на мороз, — что, в общем, чистая правда. Лавочки, на которых летом фотографировались приезжие, превратились в белые надгробия неизвестному отдыхающему. А единственная в городе снегоуборочная машина, как выяснилось, последние лет десять работала клумбой возле автовокзала, и завести её уже никто не помнил как. Поэтому убирали снег кто чем мог. К примеру, дядя Гена из соседнего подъезда вышел воевать с сугробом лопатой для угля.

Из гастронома «Парус» в первое же снежное утро смели все спички и всю соль — не потому что они спасают от снега или холода, а потому что у нас, если паника, то покупают спички с солью, это уже на уровне инстинкта, как у лосося плыть на нерест. А три старушки у нашего двора стояли и обсуждали снег с интонацией, с какой обсуждают войну: «к чему бы это», «не к добру», «в шестьдесят восьмом вон тоже намело — и что потом было».

Я во всём этом великом южном оледенении принимала самое деятельное участие. То есть мёрзла. Тут мне надо сделать одно горькое признание. Я всю жизнь считала, что моё личное проклятие — солнце. Что я, рыжая, обгорающая, прячущаяся под панамой от каждого луча, рождена не для этого климата и страдаю незаслуженно. Так вот, зима открыла мне глаза. Оказалось, холод я ненавижу ровно с той же страстью, что и жару. Просто раньше не было повода узнать. Мироздание, как любящая, но изобретательная мачеха, нашло способ сделать мне неудобно при любой погоде. Летом я гриб-боровик, прячущийся в тень. Зимой я — тот же гриб, только подмороженный.

Панаму, моё верное летнее знамя, пришлось убрать до лучших времён. Вместо неё бабушка извлекла из недр шкафа шапку, которую вязала, по-моему, она сама, в какой-то доисторический период, и шапка была с помпоном. С большим. С таким, что в зеркале я напоминала не двадцатисемилетнюю девушку с высшим филологическим образованием, а ёлочную игрушку, которую по недоразумению выпустили погулять. Бабушка, оглядев меня в сем шедевре собственного изготовления, вынесла короткий вердикт: «Тепло». Что в переводе с бабушкиного означало: «Красоты тут отродясь не водилось, так хоть не помрёшь».

Но шапка — это полбеда. Беда — это очки. У меня их две пары: основные — на носу, запасные — в сумке. Без очков мир превращается в акварель. Так вот, этой зимой выяснилась чудесная физическая закономерность, которую мне почему-то не сообщили ни в школе, ни на филфаке. Когда заходишь с мороза в тепло, очки запотевают. Намертво. Мгновенно. И ты стоишь, ослепшая, в подъезде, в библиотеке или в гастрономе среди людей, раскупающих спички, — стоишь, как водолаз, всплывший слишком быстро, и протираешь два запотевших кружка варежкой, которая тоже мокрая, отчего делается только хуже.

А поверх всего этого — астма. Моя верная спутница, мой бронхиальный якорь, причина, по которой меня в своё время не взяли в следователи и взяли в библиотекари. Летом она хотя бы вела себя прилично. Зимой же оказалось, что морозный воздух для моих бронхов — это как для интеллигентного человека внезапный визит родни из деревни: вроде ничего криминального, а дышать уже нечем. Стоило выйти на улицу и вдохнуть полной грудью этой свежей, колючей, прекрасной зимы — и я начинала свистеть. Тихонько, мелодично, на одной ноте, как закипающий вдалеке чайник. Прохожие оборачивались поискать чайник. Чайником была я. Ингалятор в кармане я теперь носила не на всякий случай, а по делу.

Словом, к читателю я выхожу не в лучшей форме. Подмороженный гриб в запотевших очках со свистом в груди. Если вы ждали роковую красавицу — ошиблись дверью, тут библиотека, красавицы выше по улице, в санатории.

Зато голова у меня работала всегда, даже когда всё остальное предательски подводило. И в то снежное утро я стояла у кухонного окна, кутаясь в три кофты, и думала ровно об одном. Точнее, об одном человеке. Большом. Не будем показывать пальцем, но звали этого человека Данила, был он ростом с водонапорную башню и шириной примерно с неё же, держал в кулаке весь городской рынок и половину серых дел побережья, а заодно носил в кармане рубашки мой ингалятор, который я обронила прошлым летом в канаве. Прошлой осенью я твёрдо, повзрослому, на трезвую голову сказала себе: «Спасибо, не надо». За большими проблемами замужем не бывает покоя, мама с бабушкой правы, с меня хватит приключений, точка, абзац, конец истории.

С тех пор я сказала себе это, наверное, раз четыреста. И ни разу, что характерно, себе не поверила. Потому что была у моей твёрдости одна маленькая техническая неполадка. Стоило где-нибудь в конце улицы мелькнуть чёрному джипу — единственной, между прочим, машине, которая в этом обледеневшем городе вообще заводилась, пока вся остальная техника стояла памятниками самой себе, — и моё рыжее сердце, не спросив ни головы, ни мамы, ни бабушки, делало тот самый предательский кульбит. Глупый. Девчоночий. Совершенно неуместный для серьёзной женщины двадцати семи лет, которая всё про себя решила. Я этот кульбит в себе сурово осуждала, но поделаться с ним ничего не могла.

— Опять стоишь, как столб, — сказала бабушка, когда я задержалась у окна на кухне чуть дольше, чем требовалось для созерцания сугробов. Она видела сквозь стены, спины и любые мои выражения лица, и было ей это так же легко, как мне — прочитать формуляр. — Джип высматриваешь?

— Снег смотрю, — сказала я с достоинством и поправила очки.

Очки я поправляю, когда нервничаю, когда вру и когда думаю. То есть примерно всегда. Бабушку этим жестом не обманешь — она по нему читает меня лучше, чем я библиотечный каталог.

— Снег она смотрит... Снег у неё, значит, чёрный, на четырёх колёсах, — повторила бабушка в пространство, прекрасно зная, что услышат все, включая соседей. — Тася. Я тебе одно скажу, и больше говорить не буду, ты знаешь, я разговоры разговаривать не люблю.

Это была неправда. Бабушка разговоры разговаривать обожала, особенно те, в которых она была права, а права она была практически всегда.

— Большой твой человек, — продолжила она, — может, и хороший. Я ж не спорю. Гора горой, и глаза добрые. Но запомни, рыжая: гора — она красиво стоит, пока на неё снизу смотришь. А поселись у горы под боком — и узнаешь, что такое камнепад, оползень и вечная тень. У горы, Таська, солнца не бывает. А ты и так у нас незагорелая.

Бабушка всегда умела закончить мысль так, чтобы возразить было нечего. Я и не возражала. Вечная тень меня, положим, вполне устраивала, но отдельно от камнепада и оползня бабушка её не предлагала. Я допила чай, замоталась в шарф до самых очков, нацепила шапку, сунула ингалятор в варежку и пошла на работу — свистеть на морозе и выдавать книги тем

немногим героям, которые в такую погоду решились дойти до библиотеки. День, надо сказать, не предвещал ничего. Совсем ничего. Обычный мёрзлый день из тех, когда главное событие — это что в читальном зале наконец-то починили батарею и Аделаида Эдуардовна по этому поводу позволила себе расстегнуть верхнюю пуговицу кофты, что в её исполнении равнялось безудержному разврату.

В общем, я просто шла на работу: свистела, как чайник, и в четыреста первый раз осуждала своё рыжее сердце за неуместные кульбиты. Идти было двадцать минут. Если как все люди. И полчаса — если как я, то есть перебежками от сугроба к сугробу, потому что упасть на льду при моём везении и моей координации было вопросом не «вдруг», а «когда».

Я добрела до работы, отряхнула с шапки снег, протёрла варежкой запотевшие очки — и предстала перед Аделаидой Эдуардовной во всей своей подмороженной красе.

— Синичкина, — сказала она, оглядев меня поверх очков с высоты своего монументального роста, — вы сегодня похожи на снеговика, которого лепили в спешке и без любви. Поправьте шапку, у вас вид, ну... такой себе. И не дышите на формуляры, они и так от сырости коробятся.

Аделаида Эдуардовна в межсезонье расцветала. Летом её главным врагом были читатели, норовившие захватить книги и нарушить священную тишину. С наступлением осени читателей почти не было, и она оставалась наедине со своим возлюбленным — с фондом — и нянчилась с ним, как мать с младенцем: протирала полки, переставляла книги, подклеивала потрёпанные корешки, сверяла каталог и была почти счастлива, насколько вообще может быть счастлив человек-монумент.

Ровно в десять, минута в минуту, явился Семён Маркович. Зимой он приходил в библиотеку не за подшивками «Науки и жизни» и не для решения шахматных задач, как делал это летом. Зимой он приходил за теплом и за компанией. Дома, в пустой квартире, ему было одиноко и холодно, а у нас топили, и была я, которую можно поучать, и Аделаида Эдуардовна, с которой можно повоевать, — а воевали они люто, два старых монумента, и эта война была им обоим слаще всякого мира.

— Аделаида Эдуардовна, — провозгласил он с порога, отряхивая снег с пальто. — Я вам скажу, что военный отдел у вас организован совершенно неправильно. Маршалы должны стоять выше генералов. А генералы — выше полковников. Это же элементарная субординация.

— Семён Маркович, у меня книги стоят по алфавиту, а не по званиям. В библиотеке, к вашему сведению, маршал и рядовой равны. Равны, как буквы в алфавите. Это, если хотите, единственное место на земле, где справедливость наконец восторжествовала.

— Это не справедливость, — парировал полковник, усаживаясь на свой законный стул у батареи. — Это анархия. У вас Толстой стоит рядом с каким-то Тюткиным только потому, что у обоих фамилия на «Т». Толстой — это глыба, а Тюткин — тьфу.

— А для алфавита, Семён Маркович, все на «Т» равны, — невозмутимо отвечала она. — В этом и величие алфавита. Он не спрашивает, глыба ты или тьфу. Алфавит чинов не признаёт. Поучились бы у него смирению.

И они препирались так часами, к обоюдному удовольствию, а я слушала, выдавала тем немногим, кто забрёл к нам в мороз, книжки и думала, что вот этот наш храм тишины с двумя воюющими стариками — это и есть, наверное, моё счастье. Тёплое, пыльное, нелепое. И, как ни странно, куда более настоящее, чем море, ради которого сюда ехали тысячи людей.

В обед за новым любовным романом заявила Тамара Игнатьевна — дама лет семидесяти в неизменной шляпке с вуалькой даже в мороз. Она была давней соперницей Аделаиды Эдуардовны по части свежих любовных романов, и война их тянулась годами. Перемирие после «Греховой страсти» продержалось ровно до первой новинки — и зима эту войну несколько не остудила.

— Мне сказали, у вас новенькое поступило, — заявила Тамара Игнатьевна, входя, как линкор в гавань. — «Пылающие пески страсти». Я первая в очереди.

— «Пылающие пески страсти», — отвечала Аделаида Эдуардовна с каменным лицом, — на руках. У читателя.

И это была, разумеется, наглая ложь, потому что «Пылающие пески страсти» в эту самую минуту лежали у Аделаиды Эдуардовны под журналом учёта, заложенные на самом интересном месте шпилькой. Я-то видела. Но выдать начальницу было выше моих сил — мы с ней теперь, после лета, были, можно сказать, боевые подруги.

— На руках? — переспросила Тамара Игнатьевна с подозрением, сверля взглядом оттопыренный журнал учёта. — У какого это читателя? У вас же зимой ни души не бывает.

— У серьёзного читателя, — отрезала Аделаида Эдуардовна. — Который, в отличие от некоторых, умеет ждать своей очереди, а не врывается, как татарин в Рязань.

И они сцепились — две старые дамы из-за книжки про пылающие пески, — а я грелась у батареи, слушала и тихо млела от счастья.

Хороший был день. Простой, тихий зимний день в моём пыльном тёплом царстве, где маршал равен рядовому, где из-за любовного романа разворачиваются битвы покруче романых и где мне, рыжей, подмороженной, со свистом в груди, было по-настоящему хорошо. Я досиделась до самого закрытия, нагрелась впрок, как кошка у батареи, заперла библиотеку и побрела домой — сквозь синие сумерки, мимо сугробов, к маме, к бабушке, к тёплой кухне под оранжевым абажуром.

Вечером того же дня в нашу дверь позвонили. Звонок у нас особенный, со своим характером: он не звонит, а давится. Издаёт короткое сипловатое «дзи» и замолкает, будто стесняется собственной наглости. Папа когда-то обещал его починить — это, кстати, чуть ли не единственное, что я про папу твёрдо знала: что он что-то обещал починить и не починил. С тех пор прошло двадцать семь лет, звонок так и давился, а папа так и не возвращался, и я, признаться, давно свела эти два факта в одну спокойную, зарубцевавшуюся мысль: одно сломалось, другой ушёл, бывает, живём дальше.

Так вот, в тот вечер звонок издал своё сиплое «дзи». Мы сидели на кухне втроем, как сидим всегда, — мама, бабушка и я, под оранжевым абажуром, который светит на нашу семью, сколько я себя помню, и при свете которого любая беда кажется чуть теплее, а любая котлета — чуть вкуснее. Мама штопала. Бабушка пила чай с тем выражением, с каким полководец изучает карту. Я грела о чашку озябшие после дороги руки и рассказывала, как Аделаида Эдуардовна сегодня героически расстегнула пуговицу.

— Кого это на ночь глядя принесло? — поинтересовалась мама, не отрываясь от штопки. — Опять, что ли, Витольд?

Витольд — это бывший мамин кавалер, уса́тый инженер, который, по бабушкиному определению, «губу прятал». Но Витольд давно был в отставке, и помянули его так, для порядка.

— Я открою, — сказала я и пошла открывать, на ходу, по библиотечной привычке, гадая, кто бы это мог быть, и перебирая варианты от соседки за солью до телеграммы.

Человека, который стоял на нашей лестничной площадке, в моих вариантах не было. Немолодой, невысокий, ладный когда-то, а теперь какой-то виновато аккуратный, будто всю жизнь извинялся, что занимает место (не то что Данила, который собой пользовался, как другие пользуются деньгами). Седоватый. В хорошем, но мятом пальто, на плечах которого таял тот самый оскорбительный южный снег. В руке — чемодан, старый, с потёртыми углами. А лицо...

Лицо у него было моё. То есть не совсем моё, конечно. Мужское, старое, усталое. Но что-то в нём — разрез глаз или то, как приподнималась бровь, — что-то было до того знакомое, что я, никогда в жизни этого человека не видевшая, узнала его раньше, чем он успел открыть рот. Узнала животом, спинным мозгом, всей своей рыжей породой.

— Тася, — сказал он. Не спросил. Сказал. Тихо, хрипло, с какой-то невозможной нежностью, на которую не имел никакого права. — Какая ты стала большая.

И я, Таисия Тихоновна Синичкина, двадцати семи лет, библиотекарь, человек, который всё лето в одиночку ловил убийцу и не сплеховал, человек, который в мечтах сто раз репетировал эту встречу и заготовил для неё столько холодных, точных, уничтожающих слов, что хватило бы на роман, — стояла в дверях и не могла выдавить ни единого из этих заготовленных слов, только:

— Вам кого?

Хотя прекрасно знала кого. Он чуть улыбнулся — и от этой улыбки у меня всё внутри нехорошо оборвалось, потому что улыбка тоже была моя, кривоватая, виноватая.

— Папа я, — сказал он. — Тихон. Твой... ну. Папа.

За моей спиной на кухне что-то упало. Это, видимо, мама уронила штопку. А потом из глубины квартиры, перекрывая двадцать семь лет молчания, раздался голос бабушки — ровный, страшный, спокойный голос человека, который всю жизнь ждал именно этой минуты и заранее знал, что скажет:

— Явился.

Бабушка возникла в прихожей бесшумно, как умеют возникать только кошки и очень злые старушки. Встала рядом со мной, в своём байковом халате, со спицами в руке, — и посмотрела на человека в дверях так, что он как-то незаметно сделался меньше.

— Здравствуйте, Римма Аркадьевна, — сказал он и зачем-то наклонил голову. — Вы прекрасно выглядите.

— А ты постарел, — выдала бабушка. — И оброс. И врёшь, как двадцать семь лет назад врал. Я не прекрасно выгляжу, а на свои. А вот ты, Тихон, выглядишь как человек, у которого где-то что-то случилось и который вспомнил, что у него, оказывается, есть семья. Угадала?

— Ничего у меня не случилось, — сказал он. — То есть случилось. Со мной. Внутри. Я... Римма Аркадьевна, не за деньгами. И не в беде. Просто... — Он запнулся, и чемодан в его руке дрогнул. — Я приехал. К ним. К дочке и... Пока ещё можно.

— Нельзя, — отрезала бабушка.

И хотела уже закрыть дверь — несокрушимая, последний рубеж обороны нашей крепости, — но тут из кухни появилась мама. Она вышла медленно. Я, обернувшись, увидела её лицо — и у меня сжалось сердце. Потому что с лица красавицы, которую весь город считал счастливой и беззаботной, на которое мужчины оборачивались на улице, — с маминого лица в одну секунду слетела вся её знаменитая броня. Вся. И под бронёй оказалась двадцатилетняя девочка, которую когда-то очень любили и очень больно бросили и которая, оказывается, все эти годы ждала, сама себе в том не признаваясь.

— Тихон, — почти шёпотом произнесла мама.

Одно слово. Но в этом слове было столько всего — обиды, боли, давней любви, ужаса, надежды, — что мне захотелось увести их всех с этого сквозняка, закрыть дверь, выключить свет и сделать вид, что ничего этого нет.

— Алла, — позвал он.

Они стояли и смотрели друг на друга через порог, двое немолодых людей, между которыми лежали двадцать семь лет, один сломанный звонок и я. Единственное, о чём я в тот момент была способна думать с предельной, идиотской ясностью, было то, что чай на кухне стынет. Хороший, со зверобоем, как все любят. И что сейчас он остынет, и придётся перезаваривать. Иногда, когда мир рушится, голова цепляется за чай. Не знаю почему. Меня так устроили.

— Чаю будете? — спросила я.

Все трое посмотрели на меня так, будто я сказала несусветную глупость. А может, её и сказала. Но чай-то стыл.

Чаю он, кстати, так и не выпил. Бабушка не пустила дальше прихожей — стояла в дверях кухни пограничным столбом, и было ясно, что через этот столб не пройдёт ни один прощелыга, будь он хоть трижды раскаявшийся. Так что Тихон постоял, потоптался, сказал, что остановился в гостинице «Кавказ», что зайдёт завтра, если позволят, что он всё понимает и ни на что не претендует, — и ушёл, оставив запах мороза, мокрого пальто и какого-то незнакомого одеколона. А мы остались втроём — переваривать.

Переваривали мы по-разному. Бабушка переваривала громко.

— Я же говорила, — повторяла она, расхаживая по кухне, как разъярённый генерал по штабу. — Двадцать семь лет говорила, в этой самой кухне: вернётся. Прощелыга всегда возвращается, не за тем, так за этим. Думаешь, он к дочке приехал? К совести своей он приехал. Алка, попомни моё слово! Прижало старого где-то там внутри — вот и притащился, чтоб отпустило. А мы ему теперь, значит, лечебница. Бесплатная. Душевная. Приходите, гражданин Синичкин, полечите об нас свою совесть, мы подождём, мы привычные. Он у тебя хоть Синичкин ещё? Или уже обратно Воробушкин?

— Мам, перестань, — тихо попросила мама.

И вот это её «перестань» было страшнее любого крика. Потому что мама за Тихона никогда в жизни не заступалась. Она про Тихона двадцать семь лет говорила одну-единственную фразу — «обаятельный прощелыга, лапшу вешал — заслушаешься», — говорила легко, с усмешкой, как печать ставила, и под этой печатью давно, казалось, всё успокоилось и заросло. А тут — «перестань». И смотрит в окно, в темноту, в которой только что растаял её Тихон. Бабушка осеклась. Она тоже это услышала — бабушка всё слышит. И посмотрела на маму своим рентгеном, долго, внимательно, и в глазах у неё мелькнуло что-то, что я видела очень редко: тревога.

— Алка, — произнесла она уже другим голосом, тихим. — Ты только это. Ты броню-то не снимай. Я тебя прошу. Двадцать семь лет в броне прожила — поживи ещё. Он же тебя один раз уже...

— Я помню, мам. Я всё помню.

И ушла к себе, а мы с бабушкой остались вдвоём на кухне, под абажуром, и впервые в жизни не знали, о чём говорить.

— Бабуль, — сказала я наконец. — А вдруг он правда. Раскаялся.

Бабушка фыркнула, но как-то невесело.

— Раскаялся... Знаешь, Таська, в чём беда с раскаянием? Оно бесплатное. Нагрешил человек, набедокурил, бросил, сбежал — а потом, через двадцать семь лет, как нагуляется да как состарится, садится и раскаивается. И ему хорошо. Легчает. А тем, кого он бросил, от его раскаяния — ни тепло ни холодно, потому что годы-то прожиты, дырка-то в жизни уже прогрызена, и раскаянием её не заштопаешь. — Она помолчала. — Я не говорю, что он врёт. Может, и вправду раскаялся, искренне. Я говорю — поздно. Поезд, Таська, ушёл, а билет он пришёл предъявлять.

И опять, как всегда, возразить было нечего. Бабушка умела сформулировать так, что хоть на медаль отливай. И всё-таки. Всё-таки где-то в самой глубине, в той части меня, которую я держу под замком и стараюсь туда не заглядывать, шевельнулось что-то маленькое, тёплое и предательское. Что-то, что я давила в себе с детства, с того самого возраста, когда другие девочки приходили из школы и рассказывали, как папа починил велосипед, посадил на плечи, наорал на хулигана. Что-то, чему я не давала имени.

Я всю жизнь мечтала впаять отцу дело. Честное слово. Девочка, которая хотела стать следователем, в своих детских фантазиях не ловила воров и не преследовала маньяков — нет. Я разыскивала его. Находила, представляла улики, смотрела, как он опускает свою виноватую голову, и говорила что-нибудь холодное и взрослое. Это была моя любимая фантазия. И только годам к двадцати я с ужасом поняла, что фантазия эта — никакая не про месть. Что в ней

главное — не «впаять». В ней главное — найти. Что я двадцать лет в воображении его искала. Потому что найти — это значило, что он есть. И вот он нашёлся сам. Пришёл и встал на пороге с потёртым чемоданом. А я спросила: «Вам кого?»

— О чём задумалась, рыжая? — поинтересовалась бабушка.

— О чае, — соврала я и поправила очки.

Она хмыкнула. Но допытываться не стала. Бабушка в тот вечер вообще была мягче обычного — видно, и её эта история придавила.

Назавтра Тихон пришёл к завтраку. С подарками. И вот тут начался цирк. Он, как выяснилось, представления о нас имел смутные и устаревшие ровно на двадцать семь лет. Тихон ведь помнил нас какими? Маму — двадцатилетней красавицей, любившей определённые духи. Меня — он меня вообще никакой не помнил, потому что бросил, когда мне было около нуля. А бабушку считал смертной и, кажется, втайне надеялся, что к его возвращению её уже не станет. Бабушка эту его мысль немедленно прочитала и пресекла фактом своего бодрого существования. Так что подарки были — пальцем в небо.

Маме Тихон притащил духи. Те самые, «как тогда любила». Французские, дорогие, он явно их с боем где-то доставал. Беда в том, что мама «тогда» любила эти духи в свои двадцать лет, а в сорок семь терпеть не могла. Она давно перешла на другие, а от запаха прежних, как сама потом призналась, её слегка мучило — слишком много с ними было связано. Так что мама взяла флакон, сказала «спасибо», подержала его, как гранату, и поставила на сервант, подальше.

Мне Тихон притащил куклу. Куклу! Большую, в кружевном платье, моргающую глазами. Очаровательную — для девочки лет шести. Я стояла перед ней, двадцатисемилетняя, и не знала, плакать мне или смеяться. Потому что в этой нелепой кукле было всё. Вся пропасть во много лет. Он не знал, что я выросла. Для него я где-то там, в его виноватой голове, так и осталась тем младенцем, которого он не понянчил, — и он, бедный, вёз её через полстраны, наверстать.

— Спасибо, — проговорила я. — Красивая.

И, не знаю, что на меня нашло, взяла эту куклу и прижала. По-дурацки. К груди, как ребёнок. И почувствовала, как у меня предательски защемило в носу. Быстро отвернулась и поправила очки.

А бабушке Тихон подарков не вёз. Бабушке он, умница, привёз банку мёда. Просто мёд, в простой банке, какой-нибудь горный, у дороги купленный. И пояснил:

— А вам, Римма Аркадьевна, я цветов да брошек везти не рискнул. Знаю, не возьмёте. А мёд — мёд и есть. Хотите — ешьте, хотите — соседу отдайте. Только он хороший, не сомневайтесь, я пробовал.

И вот тут бабушка первый раз на него посмотрела не как на прощелыгу, а как на человека. Коротко. На секунду. Потому что мёд — это было точно. Не подлизаться, не задобрить — а просто, по-стариковски, без претензии. Мёд она взяла. Молча. Поставила на стол и спросила:

— Чай будешь? — И, спохватившись, что проявила слабость, добавила сурово: — Один. И не привыкай.

Это была капитуляция. Маленькая. На один стакан чая. Но я-то бабушку знала и поняла, что оборона дала первую трещину. И ещё я поняла, сидя за этим невозможным столом, где четверо чужих-родных людей пили чай и делали вид, что это нормально, — что спокойная, давно зарубцевавшаяся мысль «сломалось, он ушёл, живём дальше» больше не работает. Что рубец вскрылся. И что теперь придётся как-то с этим жить — с папой, который вёз мне куклу через полстраны.

А через день умер Викентий Палыч. Весть принесла соседка, та самая, что выбивает ковры с таким видом, будто мстит им за что-то личное. Она поднялась к нам утром, запы-

хавшаяся, со скорбно поджатыми губами, и с порога, ещё не сняв платка, выдала главное — потому что носить в себе такую новость лишнюю минуту было выше её сил:

— Слыхали? Викентий-то Палыч помёр. Фотограф. Угорел, царствие небесное, у себя в доме. Печку, говорят, затопил на ночь, заслонку рано задвинул — и всё. Утром почтальонша стучит, газету несёт, а он не открывает. Соседи участкового позвали, дверь вскрыли — а он в кресле сидит, как живой, только холодный. Семьдесят с лишком лет, чего ж вы хотите. Старый человек. Это бывает.

Я смотрела на бабушку. Она стояла у плиты с чайником в руке. И не уронила его, нет, — бабушка ничего никогда не роняет. Она очень аккуратно поставила чайник обратно на конфорку, очень ровно, очень точно, и так же ровно произнесла:

— Спасибо, что зашла.

А потом села. Просто села на табурет, посреди кухни, в байковом халате, и стала смотреть в одну точку. И вот эта её поза и взгляд сказали мне больше, чем любые слёзы. Потому что бабушка моя не садится просто так. Она всегда при деле, всегда в движении, всегда на полшага впереди беды. А тут — села. Будто из неё разом вынули какую-то опору.

Соседка, почуяв, что новость отыграна и пора уступать сцену, потопталась, повздыхала про «все там будем» и удалилась разносить весть дальше — по всем этажам, где её ещё не слышали.

— Бабуль, — спросила я, садясь рядом. — Ты как?

— Он мне свадьбу снимал, — отозвалась бабушка, не отрывая глаз от стены. — С Аристархом. В сорок девятом. Мы бедные были, голодные, после войны-то, какие там фотографии — а Викентий пришёл со своим аппаратом, молоденький совсем, нахальный, и снял нас на крыльце загса. Бесплатно. Сказал: «Вы, говорит, красивые, а красивое снимать надо, иначе зачем я на свете». — Она усмехнулась, и в усмешке было пятьдесят лет. — Один он у меня и остался, тот снимок. Аристарх с него на меня и смотрит. Молодой. Я старуха, а он молодой. Вот Викентий какой человек был. Он мне моего Аристарха молодым сохранил.

Я молчала, знала: когда бабушка говорит про деда, лучше молчать. Это у неё свято.

— Желчный был, как чёрт, — продолжила она уже твёрже, словно отгоняя слабость привычным ворчанием. — Языкастый. Всех насквозь видел и каждому правду в глаза, оттого его половина города терпеть не могла, а я любила. За то и любила, что не врал. Он, Таська, всё про всех знал — много лет весь город снимал, все свадьбы, все похороны, все морды на досках почёта. Через его аппарат весь Геленджик прошёл, как через игольное ушко. Он про этот город такое знал, чего ни в одном архиве нет.

Она замолчала. И вдруг, без перехода, поднялась — резко, по-бабушкиному, опора вернулась на место, — и объявила:

— Идём прощаться. Всем домом. Я Викентия в последний путь не проводить не могу, не по-людски это. Алка отпросится с работы. Ты тоже. И вот что, Таська. — Она посмотрела на меня остро. — Ты на похоронах глаза-то не закрывай. Гляди. Ты это умеешь — глядеть. А я что-то... — Она запнулась, и это было совсем на неё не похоже. — Непокойно мне. Столько лет человек печку топил и не угорал. А тут вдруг угорел. Может, и вправду — старость, заслонка, бывает. А может, и нет. Погляди там, рыжая. На всякий случай.

И вот тут, скажу честно, у меня внутри что-то тихонько щёлкнуло. Тот самый щелчок, который я уже знала, — когда мир из плоского вдруг делается выпуклым и в нём проступает второе дно. Бабушка ведь не просто так сказала «погляди». Бабушка моя зря слов не роняет. И если ей, со всей её звериной чуйкой, беспокойно из-за старика и заслонки — то и мне пора начинать поглядывать. Хотя, конечно, я тут же себя одёрнула. Хватит, Тася. У тебя одно лето было такое, что на три жизни хватит. Старый человек угорел в старом доме — это не заговор, это просто грустно. Не ищи ты зверя там, где его нет. Не каждая печка — преступление. Так я

себе сказала. И, как обычно в последнее время, сама себе не поверила. Потому что беспокойно стало и мне.

Хоронили на третий день. На похороны мы собирались, как на парад. У бабушки для скорбных случаев имелся отдельный гардероб — чёрное платье, чёрный платок, чёрное пальто, всё своё, проверенное десятилетиями, потому что в её возрасте, как она мрачно шутила, на похороны ходишь чаще, чем в кино. Мама надела тёмно-серое, строгое, и даже в трауре умудрялась выглядеть так, что хотелось извиниться за собственный вид. А я напялила то немного тёмное, что у меня было, поверх трёх кофт, сунула в карман ингалятор и стала похожа на печального колобка, собравшегося в последний путь раньше покойника.

— Красавица, — оценила бабушка, оглядев меня. — Ну, как есть красавица. Викентий бы тебя снял и на обороте написал что-нибудь обидное. Он это любил — на обороте каждого снимка приписать. Полвека приписывал. Язык как бритва, даже у мёртвых, поди, карточки подписаны.

Мы заперли квартиру и пошли — три Синичкины в траурном — провожать в последний путь старого желчного фотографа, который полвека хранил в своём доме чужие лица.

Хоронили Викентия людно. Я, признаться, удивилась. По бабушкиным рассказам выходило, что старика половина города терпеть не могла, а проститься пришли чуть не все. Потом поняла: одно другому не мешает. Человека можно при жизни не любить, а на похороны прийти — из уважения, из страха, из любопытства, а чаще всего просто потому, что он тебя когда-то снимал, и на стене у тебя висит твоя свадьба, твой выпускной, твой первенец — и пришёл ты, выходит, проститься не столько с ним, сколько с собственной молодостью, которую он тебе сохранил.

День для прощания выдался на редкость ясный: снег наконец перестал идти, и небо вычистилось до звонкой голубизны. Мороз стоял сухой, колкий, и кладбище под ним лежало белое, тихое и нарядное, как открытка, на которой совершенно неуместно выкопали могилу. Я, помня бабушкин наказ, поглядывала по сторонам. Гляделось мне, прямо скажем, плохо — потому что очки на морозе вели себя как хотели, а нос приходилось то и дело прятать в шарф, отчего обзор делался как у водолаза в мутной воде. Но кое-что я всё-таки разглядела. И народ запомнила — раз бабушка велела.

Первым в глаза бросался племянник. Костик — так его все называли, хотя был это здоровенный детина лет тридцати пяти, нескладный, с большими руками и круглым добрым лицом, по которому сейчас текли совершенно неприличные для здорового детины слёзы. Он не вытирал их, не стеснялся, стоял у гроба и плакал в голос, как ребёнок, и сморкался в огромный клетчатый платок так трубно, что вороны взлетали. Это, как мне шепнула бабушка, был единственный родственник Викентия — сын покойной сестры, при дяде с малолетства, фотографии им обученный и фотографией живущий. «Дядькин ученик и наследник, — проинформировала бабушка. — Дом ему теперь, и аппараты, и весь архив. Гляди, Таська: вот кому всё досталось». Я посмотрела. И, честно скажу, ничего, кроме горя, в Костике не увидела.

Потом я заметила вдову бывшего главврача санатория. Серафима Павловна стояла особняком, прямая, как палка, в шикарном чёрном пальто с настоящим меховым воротником, в шляпке с вуалькой — единственная вуалька на всём кладбище, остальные обходились платками. Лицо у неё было властное, ухоженное, с поджатыми губами, и держалась она так, будто делала похоронам одолжение своим присутствием. «Серафима, — процедила бабушка с непередаваемой интонацией, в которой умещалась целая история. — Главврачиха бывшая. То есть сама-то не врач, а мужа похоронила, главного по санаторию, лет уж пятнадцать как, и с тех пор ходит — будто это она санаторий и есть. Гонору на троих. А откуда — непонятно». Серафима Павловна, словно почуяв, что о ней говорят, повернула голову и обвела толпу холодным взглядом. На мгновение её внимание что-то привлекло, но я не успела понять что: она ещё сильнее поджала губы и отвернулась.

Третьим был суетливый Эдуард Леонидович, нынешний директор санатория — гладкий, румяный, в дублёнке, при шапке из такого меха, что хотелось погладить. Он не стоял на месте ни секунды: перетекал от группы к группе, всем пожимал руки, всем горестно кивал, организовывал, распоряжался, показывал, куда нести венок, словом, хоронил Викентия с такой кипучей энергией, будто от этих похорон зависела путёвочная разнарядка на квартал. «Эдик, — фыркнула бабушка. — Этот при всякой власти директор. Хоть при советской, хоть при какой. Скользкий, как налим, и пустой, как барабан. Но безвредный».

А ещё была старушка. Маленькая, древняя, в стареньком, много раз чиненном пальтишке, она стояла дальше всех от гроба, у самой ограды, и не плакала, а как-то трудно, неотрывно смотрела на покойного — и в лице у неё был не то ужас, не то паника. Я её отметила машинально, как отмечаешь несовпадение в формуляре, потому что все смотрели на Викентия с печалью, или с уважением, или со скукой, а эта одна — со страхом. «Тётя Маша, — подсказала бабушка, проследив мой взгляд. — Нянечка санаторская, на пенсии давно. Тихая, безобидная. Чего это она такая напуганная?» Бабушка тоже заметила. Бабушка всё замечает.

А потом я увидела последнего. И тут даже бабушка понизила голос. К свежей могиле, опираясь на трость, медленно, с достоинством шёл высокий сухой старик. Лет, должно быть, за шестьдесят, но прямой, с твёрдым, чисто выбритым лицом и светлыми, выпцветшими, но очень внимательными глазами. И толпа перед ним расступалась. Не суетливо, как перед начальством, а почтительно, тихо, как расступаются перед чем-то значительным. Люди здоровались с ним вполголоса, склоняя головы, и он каждому кивал — скупое, по-королевски.

— Кречетов, — выдохнула бабушка, и в голосе её было то, чего я у бабушки почти никогда не слышала: уважение без всякой иронии. — Глеб Наумович. Следовательно. Тот самый.

— Какой тот самый? — шепнула я.

— А такой. Легенда. Сорок лет в розыске, и ни единого пятна. Через него весь бандитский юг прошёл, всех пересажал, никого не упустил, и ни разу, слышишь, ни разу не оступился — ни взятки, ни поблажки, ничего. Это он, Таська, в своё время приморского душегуба взял — ты мала была, не помнишь, а тот детей по дачным посёлкам воровал, весь берег три года ночей не спал, матери ребятишек из дому не пускали. Все опустили руки, а Кречетов вычислил и взял. Без единого выстрела. Его тогда на руках носили, и поделом — он берег спать уложил. Кристальный человек. Сейчас на пенсии, мемуары пишет, его весной чествовать собираются, чуть не улицу назвать хотят. Таких, Таська, на свете по пальцам. Пал Палыч твой на него молится — это, считай, его учитель. — Бабушка помолчала и добавила тише: — Я Кречетова много лет знаю. И, веришь, ни разу к нему душа не лежала. Уважаю — да, а душа не лежит. Сама не пойму отчего.

Я смотрела, как Кречетов подходит к могиле. Как останавливается. Как стоит — прямо, неподвижно, опершись на трость, глядя в яму, куда сейчас опустят старого фотографа. Лицо у него было спокойное и скорбное, ровно настолько скорбное, насколько положено приличному человеку на похоронах знакомого. Ни больше ни меньше. Когда гроб стали опускать и Костик зарыдал в голос, а все потянулись бросить по горсти мёрзлой земли, — Кречетов бросил свою горсть первым из чужих, сразу после родни. Постоял секунду над могилой, кивнул кому-то, опёрся на трость и медленно двинулся к выходу, и толпа опять почтительно расступилась.

Итого, если по-библиотечному, два несовпадения в формуляре: споткнувшийся взгляд вдовы и страх на лице нянечки. Ни одно из них само по себе ничего не значило, но оба я запомнила. Горсть земли я бросила в могилу Викентия с одной непрошеной, царапающей мыслью: что старик этот, несносный и языкастый, видевший весь город насквозь, унёс под мёрзлую землю что-то, чего я пока не знаю. И что кому-то, может быть, очень спокойно оттого, что унёс.

Потом были поминки. Их устроили в столовой санатория — Эдуард Леонидович расстался, выделил зал, и было в этом что-то правильное: столько лет Викентий снимал в этом санатории заезды и отъезды, награждения и юбилеи, — сюда же его и поминать пришли.

Южные поминки — это, я вам скажу, отдельный жанр, в котором горе и аппетит идут под руку, несколько друг друга не стесняясь. Сначала все скорбно молчат над кутьёй и киселём, роняя положенное «хороший был человек». Потом водка делает своё нехитрое дело, и поминки незаметно превращаются в шумное собрание, где уже спорят, смеются, выясняют родство и сводят счёты многолетней давности, — и всё это, заметьте, совершенно искренне, потому что помянуть как следует у нас означает не загрузить, а пожить, назло смерти, погромче.

Я сидела с краю, между бабушкой и мамой, ела кутью, помнила бабушкин наказ и поглядывала внимательно по сторонам. Сидевшие напротив две старушки негромко, но обстоятельно делили покойного.

— Я Викентию ближе всех была, — заявляла одна. — Он мне на семидесятилетие портрет делал, отретушировал так, что я там как Любовь Орлова.

— Это ты-то ближе? — парировала вторая. — Да он тебя на дух не выносил. Сам мне говорил: эта Клавдия, как придёт сниматься, так требует, чтоб я ей сорок лет убавил, а где я их возьму, не рожу же я её заново.

Я чуть кутьёй не подавилась — от смеха. Прикрыла рот ладонью и сделала вид, что кашляю. Кашлять на поминках разрешалось. Хихикать над чужим разговором — уже как-то не очень. Я уткнулась в тарелку, старательно изображая человека, которого занимал исключительно изюм.

А потом начались речи — и это была отдельная мука и отдельный театр. Вставал человек со стаканом, набирал воздуха, говорил «Викентий Палыч был...» — и тут выяснялось, что дальше сказать нечего, потому что Викентий Палыч при жизни умудрился каждому из присутствующих хоть раз да насолить своим языком, и говорить «хороший был человек» над тем, кто тебя же много лет и поддевал, выходило фальшиво даже для поминок. Поэтому речи получались короткие, скомканные, на одной интонации: «Викентий Палыч был... своеобразный человек. Но мастер. Светлая память». И садились с облегчением.

Один только пожилой профорг, видно, из принципа, решил сказать как положено — длинно, с чувством. Поднялся, постучал вилкой о стакан, начал торжественно: «Товарищи. Ушёл от нас человек, который запечатлел для потомков...» — и тут с дальнего конца стола кто-то уже подвыпивший громко уточнил: «И который тебя, Степаныч, запечатлел в шестьдесят девятом на рыбалке с чужой женой!» — и зал крикнул, профорг побагровел, скомкал речь и сел, а сам Викентий, я думаю, на том свете довольно хмыкнул: он и оттуда умудрился вставить шпильку.

Бабушка ела мало, говорила ещё меньше и за все поминки ни разу не улыбнулась. Она пришла не поминки разделить, а проститься, и весь этот шумный спектакль был ей, я видела, поперёк горла. Один раз только, когда какая-то дама в чёрном принялась громко рассказывать соседке, сколько она заплатила за венок и что венок мог бы быть и подешевле, бабушка повернулась и произнесла ровно, негромко, своим рентгеновским голосом: «А ты, голубушка, венок-то не покойнику покупала. Себе. Чтоб все видели, какая ты добрая. Покойнику теперь всё равно, а тебе — видишь, до сих пор не всё равно». И дама замолчала на весь оставшийся вечер.

Вот за это я бабушку и обожаю. Она в любом балагане, на любых поминках видит, кто пришёл горевать, а кто — себя показать. И режет правду так тихо и так точно, что и обидеться нельзя, а перечить — себе дороже.

Костик к концу первого часа был уже сильно хорош. Он горевал крупно, во всю свою богатырскую статью, обнимал по очереди всех, кто оказывался в радиусе, и каждому, роняя слёзы в стакан, повторял одно: что дядька был ему вместо отца, что фотография — это святое, что он, Костик, теперь один на всём свете с этим аппаратом и этим домом, и зачем ему дом без дядьки. Серафима Павловна на него косилась с брезгливым состраданием. Эдуард Леонидович по-директорски подливал и приговаривал «помянем, помянем», явно прикидывая, скоро ли можно будет прилично закрыть мероприятие.

А Семён Маркович — мой боевой товарищ по прошлому лету, отставной полковник восьмидесяти трёх лет, бравший, по его собственным рассказам, Кёнигсберг и сохранивший с тех времён неутолимую жажду операций — явился на поминки «отдать долг», но при первом же упоминании, что Викентий «угорел, бедняга, несчастный случай», встрепенулся, как старый боевой конь при звуке трубы, и подсел ко мне.

— Тася, — шептал он мне в самое ухо, дыша луком и боевым задором. — Несчастный случай? А я тебе так скажу. Я этих несчастных случаев на своём веку навидался. Печка, заслонка — это всё, знаешь, можно подстроить, как два пальца об асфальт. Ты, главное, приглядишься, у тебя глаз есть, я ещё летом приметил, хоть ты в наблюдении ни уха ни рыла, но суть видишь...

— Семён Маркович, — шепнула я, — тут поминки.

— Поминки — лучшее место для наблюдения, — отрезал он с непоколебимой логикой фронтовика. — Тут все. И убийца, если есть, тоже тут. На поминки убийцы завсегда ходят, для алиби. Это я тебе как профессионал говорю.

Я хотела возразить, что никакого убийцы нет и в помине, что я тут просто кутью ем, но в этот момент за соседним столом произошёл разговор, от которого у меня кутья встала поперёк горла. Говорили двое мужчин — пожилые, по виду из старых санаторских.

— ...а он последние недели сам не свой ходил, Викентий-то, — рассказывал один вполголоса. — Я к нему заходил за карточками внучкиными. Так он весь в коробках, в негативах, всё перебирает, перебирает. Выставку, говорит, к юбилею своему собираю, пятьдесят лет, мол, как я этот город снимаю. И будет, говорит, на этой выставке один кадрик. Особенный.

— Какой особенный?

— А кто ж его знает. Он, знаешь, как ухмыльнулся-то. Нехорошо ухмыльнулся, по-своему, ехидно. «Найдётся, говорит, у меня один кадрик. Юбилейный. Кое-кто, говорит, удивится». И захихикал. Станный был старик, что говорить. Серафима-то Павловна к нему из-за этой выставки ходила — мужа, говорит, не дам выставять. И Эдик наш, директор, бегал, стенд ему под юбилей в санатории отвели, а старик его выставил. А через три дня — на тебе, угорел.

— Да-а. К чему теперь его выставка. Костику небось не до того.

Они перешли на цены и на зятя, а я осталась сидеть с ложкой в руке. За соседним столом уже обсуждали, сколько этот зять получает и куда всё деваает. С Викентием там закончили. А у меня вдруг возник совершенно неуместный для поминок вопрос: что теперь будет с его снимками? Костик уберёт коробки подальше, чтобы не берeditь душу, — и всё? Так никто и не увидит, что старик собирался показать?

Я огляделась. Серафима Павловна сидела в самом начале стола, прямая, с нетронутой рюмкой. Через два стула от неё — Эдуард Леонидович. Он о чём-то болтал с соседом и всё подливал и подливал себе. Ещё минуту назад это были просто люди на поминках. Теперь я невольно прикидывала, с кем из них Викентий ссорился, что говорил и чем кончился разговор. Очень приличное занятие за поминальным столом.

«Совпадение, — одёрнула я себя. — Старик хихикал — мало ли над чем. А угорел — потому что старость и заслонка. Викентий кому только на большую мозоль не наступал. При нём улыбались — попробуй найди другого, который тебя так снимет, — а уж дома, над готовыми карточками, могли и отвести душу. Что теперь, всех обиженных переписывать? Тебе, Тася, один маньяк попался — и теперь тебе в каждой печке мерещится. Уймись и ешь».

Я послушно отправила в рот ложку кутьи. И тут же поймала себя на том, что ищу глазами Костика. Спросить бы, что за выставка. Один вопрос. Совершенно невинный. Про невинные вопросы я уже кое-что знала.

Домой мы возвращались в синих зимних сумерках, втроём, по скрипучему снегу. Мама молчала о своём — у неё своего в эти дни хватало. А бабушка вдруг обронила, ни к кому не обращаясь, глядя под ноги:

— Завтра ходим к Викентию в дом. Снимок наш свадебный заберу — он ведь себе всегда второй экземпляр оставлял, кого бы ни снимал. Пока Костик всё не растащил по-сиротски. — И, помолчав, добавила тише: — И ты со мной, рыжая. Поглядишь там. Раз уж тебе, я вижу, тоже за поминками кусок в горло не лез.

Вечером после поминок бабушка была тихая. Сидела на кухне, под оранжевым абажуром, перед нетронутой чашкой остывшего чая, смотрела в одну точку, была старенькая и усталая, как никогда. Я молча села рядом. Уже знала: когда бабушке плохо, лезть со словами — последнее дело. Надо просто прижаться к ней тёплым боком, как в детстве. И бабушка заговорит сама.

— Полвека я Викентия знала, Тася. Полвека. Это ж подумать только. Долше, чем твоего деда, долше, чем кого бы то ни было на этом свете. Дед-то твой, Аристарх, рано ушёл. А Викентий — вот, до сих пор был. Думала, нас двоих ещё надолго хватит. А он взял да и помер. Один из всей нашей молодости остался — и тот ушёл. Теперь я одна. Последняя.

— Вы дружили? — спросила я тихо.

— Дружили. — Бабушка усмехнулась, и в усмешке этой было много лет. — Если это так можно назвать. Мы с ним, Таська, полвека ругались. Встретимся на улице — и сразу за своё. Он мне: «Ну что, Римма, всё языком людей режешь?» А я ему: «А ты, Викентий, всё чужие морды снимаешь, свою-то стыдно показать?» И разойдёмся, довольные. Это у нас вместо «здравствуй» было.

Она помолчала, погладила край чашки.

— А знаешь, почему мы сошлись? Почему два таких языкастых, ядовитых, всем поперёк горла стоящих человека — много лет держались друг за друга? — Бабушка подняла на меня глаза. — Потому что мы были единственные. Единственные на весь город, кто не врал. Понимаешь, Тася? Кругом все врут. По-маленькому, по-доброму, для удобства — но врут. «Прекрасно выглядишь», «рад тебя видеть», «какой милый ребёночек». А мы с Викентием — нет. Я правду в глаза, он правду на обороте. Это, внучка, дороже любви, когда есть на свете хоть один человек, при котором не надо притворяться. У меня таких было двое за всю жизнь. Аристарх. И вот Викентий. И теперь — никого.

У меня зацепало в носу.

— Он тебя бы оценил, между прочим, — вдруг оживилась бабушка, и в голосе её мелькнуло что-то тёплое. — Тебя, рыжую. Он таких любил — кто видит. Мне он про тебя как-то сказал, давно ещё: «Внучка твоя, Римма, не в мать пошла, не в красотку. В тебя. У неё глаз есть. Она людей читает». Я ему: «Куда ей, она по книжкам». А он: «По книжкам, по людям — один чёрт, кто читать умеет, тот везде прочтёт». Вот так про тебя сказал. Язвительный, а угадал.

— Он про меня так говорил? — глупо переспросила я, и почему-то было это невыносимо приятно — что старик, которого я толком и не знала, разглядел во мне то, что я сама в себе ценю больше всего.

— Говорил, — кивнула бабушка. — Викентий всех видел. В том и беда его, и дар. Никто не любит зеркало, которое не льстит. — Она помолчала и добавила тише, твёрже: — За это, я думаю, его и убили, Тася. Не за деньги, не за дом. За то, что он видел. За то, что знал что-то, чего знать было нельзя. Зеркало разбили, чтоб не отражало. Я это нутром чую. Шкурой. Не угорел Викентий. Не такой он был, чтоб по дурости помереть. Кто-то ему заслонку эту задвинул.

— Я разберусь, бабуль, — пообещала я. — Если его убили — узнаю кто. Слово даю.

Бабушка смотрела на меня долго. И вдруг накрыла мою руку своей — сухой, тёплой, лёгкой.

— Узнай, Таська, — попросила она. — Узнай. Ты летом вон сколько смертей распутала. Нинка Кравцова, баба Шура... Сколько их там было. И ведь добралась до правды. Значит, и

здесь доберёшься. Только Викентия не оставь, я тебя прошу. Он мне полвека правду в глаза говорил. Я ему хоть посмертно правдой и отплачу. Через тебя. Рыжую мою.

И мы сидели вдвоём под оранжевым абажуром, бабушка и я, над остывшим чаем. И оттого, что она позволила себе при мне быть слабой, я любила её ещё сильнее, до боли. Вопросов у меня было много, но я оставила их на завтра. Только погладила её руку и не стала убирать свою. Есть вечера для сыска. А есть — для горя. И путать их нельзя.

Назавтра мы пошли к Викентию в дом, который стоял в старой части города, в кривом переулке, сбегавшем к морю, — низкий, каменный, вросший в землю по самые окна, из тех домов, что помнят ещё дореволюционных хозяев и переживут всех нынешних. Снег лежал на его покатой крыше шапкой, печная труба не дымилась, и от этого нетопленного, остывшего вида у меня сжалось сердце ещё на пороге. Открыл Костик. Трезвый, помятый, с красными глазами и тем растерянным видом, какой бывает у больших людей, у которых отняли что-то, чем они держались.

— Тётъ Рим, — обрадовался он бабушке, как ребёнок, — проходите, проходите. А я вот... не знаю, за что хвататься. Дом-то теперь мой, а я в нём... чужой какой-то без дядьки.

— Снимок я свой пришла забрать, Костя, — мягко заговорила бабушка. — Свадебный, тот, что у него остался. Не хочу, чтоб затерялся.

— Так это ж в архиве, — закивал Костик. — Всё в архиве, у дядьки всё по полочкам, он порядок любил — страсть. Пойдёмте, покажу. Я там сам ничего не трогаю, боюсь, такая система — ум за разум.

И он повёл нас в архив. И вот тут я, что называется, пропала. Потому что архив Викентия был не комната. Это был храм. Бывшая большая горница, от пола до потолка заставленная стеллажами, а на стеллажах — коробки, коробки, коробки... Тысячи коробок, и каждая подписана: год, месяц, событие. Конверты с негативами стояли в строгом строю, как солдаты на смотре. Альбомы с отпечатками — по десятилетиям. Картотека — настоящая, библиотечная, с карточками, где значилось, что, когда и кого снимал. Полвека города, разложенного по полочкам рукой педанта. Я стояла на пороге этого храма — и чувствовала ровно то же, что почувствовала прошлым летом, впервые зарывшись в газетные подшивки. «Моё». Чувство охотника, попавшего наконец в свой лес. У меня даже свист в груди притих от восторга.

— Господи, какая красота, — выдохнула я.

Костик посмотрел на меня с внезапной благодарностью — видно, не ждал, что кто-то поймёт.

— Правда? — оживился он. — А все говорят — хлам, выбрось или продай. А это ж не хлам. Это ж люди. Дядька говорил: не фотографии я храню — время. Вот тут, говорит, весь город лежит — и живые, и мёртвые, и какие они были до того, как стали теми, кто есть.

Бабушка ушла с Костиком искать свой свадебный снимок в альбоме за сорок девятый год, а я, отпросившись «просто посмотреть», осталась бродить вдоль стеллажей. И скоро захихикала вслух, нарушая всю торжественную тишину.

Про викентиевы подписи на оборотах я уже слышала от бабушки. Теперь добралась до них сама. Я вытащила наугад один отпечаток из открытого альбома — групповой портрет, какое-то застолье годов шестидесятых, важные люди с бокалами. Перевернула. И на обороте аккуратным почерком было выведено: «Банкет передовиков. Гарбузенко (второй слева) уже ворует, но ещё не пойман. Улыбается шире всех».

Я взяла другой. Свадьба. На обороте: «Свадьба Пилипенко. Невеста на сносях не от жениха. Жених счастлив, дурак».

Третий. Делегация у санатория. «Приехали из области проверять. Проверили буфет. Уехали тяжёлые».

Я уже не могла остановиться. Это было как семечки: один — и всё, пропала. Доска почёта профсоюза: «Лучшие люди. Половина — лучшие в том, чтоб не работать». Похороны какого-

то начальника, скорбные лица, венки: «Хоронят Бугаенко. Плачут трое: вдова, бухгалтер и тот, кому он остался должен. Остальные пришли убедиться». Первомайская демонстрация, флаги, дети с шариками: «Несут лозунг „Слава труду“. Транспарант нёс Желудёв, который на работе спит стоя, как лошадь». Новогодний утренник, Дед Мороз с ватной бородой: «Дед Мороз — завклубом Перепечко, пьёт со вчера, борода криво, дети счастливы, родители завидуют — он-то уже».

Я хохотала уже в голос и сама на себя дивилась — но остановиться не могла, потому что это было живое, ехидное, настоящее, и за каждой строчкой вставал человек, который много лет смотрел на свой город в упор и не позволял ему врать хотя бы на обороте.

А потом мне попался снимок, от которого смех мой притих сам собой. Заезд отдыхающих, шестидесятые, у крыльца главного корпуса — нарядная толпа, чемоданы, улыбки. И в углу какой-то гладкий, благополучный гость, каких на курорте сотни. А подпись на обороте была не ехидная: «Улыбается всем. А глаза холодные, как погреб. Таких, как он, не люблю снимать — врут даже на карточке».

Имени на обороте не было — этого Викентий, видно, и знать не хотел. Я подумала, что мне, если Викентия и впрямь убили и я хочу поймать убийцу, придётся научиться смотреть так же: не на улыбку, а под неё. Потому что убийца — если он всё-таки был — вполне мог оказаться из тех, кто врёт даже на карточке.

Я ходила вдоль полок, вытаскивала снимки, переворачивала. Викентий полвека снимал, как город хочет себя помнить, — и тут же, на обороте, записывал, каким город был на самом деле.

«Вот ты какой, Викентий Палыч, — подумала я с внезапной нежностью к покойнику, с которым и познакомилась-то, считай, на его похоронах. — Ехидный. Острый на слово. И честный до невозможности. Мы бы с тобой сработались».

Когда я об этом подумала, библиотечный мой глаз — тот самый, что замечает несовпадение в формуляре раньше, чем я успеваю сообразить, — зацепился за стеллаж с негативами. Стеллаж был — загляденье. На одной из полок конверты стояли отдельным строем, под надписью викентиевой рукой: «Санаторий. Новогодние банкеты». Много лет банкетов, конверт к конверту, год к году: 1965, 1966, 1967... 1969, 1970... Я смотрела на этот ряд, и что-то меня царапало, не сразу даже поняла, что именно. А потом дошло. Между «1967» и «1969» не было «1968». В безупречном, плотном строю зияла дырочка. Узкая щель шириной ровно в один конверт. Как выбитый зуб в ровном ряду. Как пропущенный том на полке.

У человека неаккуратного я бы и внимания не обратила — мало ли, переложил, засунул не туда. Но Викентий был педант. У него всё стояло по линейке. И вот эта одна-единственная пустота в идеальном строю кричала так, что я слышала её всем своим библиотечным нутром. Не хватало конверта с новогодним банкетом за тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год. Я стояла перед этой щелью, и по спине у меня полз нехороший холодок, а в ушах стоял подслушанный на поминках голос: «Найдётся у меня один кадрик. Кое-кто удивится». Кадр. Один. Который Викентий нашёл, перебирая старые негативы. И вскоре угорел. А теперь из идеального архива пропал ровно один конверт.

— Костик, — позвала я, стараясь, чтобы голос звучал обычно. — А скажи... у дяди тут всё на месте? Ничего не пропадало?

— Да что вы, — отозвался Костик из глубины. — Кто ж тут что возьмёт. Тут чужому без дядьки и не разобраться. Всё на месте, всё по полочкам, как при нём.

— А новогодний банкет за шестьдесят восьмой — конверт с негативами где должен стоять?

— Так на полке, где же. Банкеты по годам всё. Шестьдесят седьмой, шестьдесят восьмой, шестьдесят девятый...

Он подошёл и повёл пальцем по корешкам конвертов, как ведут по списку, — и палец его, дойдя до щели, ткнулся в пустоту. И замер. Костик нахмурился. Провёл ещё раз. Заглянул за конверты, пошарил рукой.

— Чудно, — проговорил он медленно, уже без всякой уверенности. — Нету. Шестьдесят восьмого нету. А он был, я точно помню, я ж тут всё знаю. Стоял. Куда ж он... Дядька б ни в жизнь не переложил, он за это убил бы... — Костик осёкся на слове «убил», и мы оба замолчали, и в нетопленном доме стало очень тихо.

— Костик, — спросила я. — А когда дядя выставку готовил — он этот конверт не доставал?

— Доставал, — выдохнул Костик, бледнея. — Доставал, Тася. Я сам видел. За неделю до... Сидел вот тут, с этим самым конвертом, негативы на свет смотрел. И лицо у него было... нехорошее. Я спросил — дядь, ты чего? А он мне: иди, говорит, Костя, иди, не твоего ума. И конверт убрал. Вот сюда и убрал, на место.

Мы оба посмотрели на пустую щель в ровном строю. У бабушкиного «неспокойно мне» теперь было кое-что посерьёзнее предчувствия: исчезнувший конверт. Если его кто-то забрал, то знал, что искать в этом полувековом архиве. И очень хотелось понять, когда он за ним приходил — до смерти Викентия или после.

— Тася, — тихо выговорил Костик, и в его больших глазах плескался самый настоящий страх. — Это что ж получается? Что дядьку... что его не печка?

— Не знаю, Костик, — ответила я. И поправила очки. — Пока не знаю. Но узнаю.

Он опустил голову. Большим пальцем потёр край полки, смахнул пыль.

— А меня не было, — сказал он, будто оправдываясь. — Я в Кабардинке свадьбу снимал. До рассвета гуляли. Приезжаю утром к дядьке — а тут участковый, соседи. — Он помолчал. — Кабы накануне зашёл...

— Ты же не мог знать.

— Не мог, — согласился он, глядя всё туда же, на полку.

От этого покорного «не мог» мне стало хуже, чем если бы он заплакал. Я уже пожалела, что заговорила о пропаже: конверта мы не нашли, зато теперь Костик будет думать ещё и об этом.

— Я тебя с этим не оставляю, — сказала я. — Сама начала — теперь не брошу.

Он поднял на меня глаза.

— Спасибо, Тась.

Лучше бы он не благодарил. От этого тихого «спасибо» сразу стало ясно: влипла я по самые очки.

Свой свадебный снимок бабушка забрала — Аристарх глядел с него молодой и счастливый. Подержав снимок в руках, она сделалась на минуту тихая и не похожая на себя. Перед уходом я рассказала ей о пропавшем конверте и о том, что вспомнил Костик.

Домой мы возвращались молча. Мороз крепчал, снег тихо поскрипывал под ногами, а мысли у каждой из нас были такие громкие, что разговаривать не было необходимости.

— Может, он увидел что-то, что не предназначалось для чужих глаз? — первой нарушила молчание бабушка.

— Возможно, — согласилась я. — Фотографы народ любопытный.

— Или кому дорогу перешёл... Язык у него острый.

Я кивнула. Эта версия мне тоже казалась вероятной.

— Или сфотографировал? Столько лет архив собирал. Конверт же с банкетом за шестьдесят восьмой год куда-то пропал...

— Не исключено. Но пока это только версия.

Мы ещё немного помолчали.

— А дом? — вдруг спросила бабушка. — Место хорошее. Старый центр. До моря рукой подать. Сейчас времена такие...

Вот тут я остановилась. Дом действительно был хороший. Время сейчас такое, что за квартиры и дома люди порой цепляются куда крепче, чем за собственную совесть.

— Знаешь, бабуль, все версии подходят, но начать, пожалуй, стоит с дома. До шестидесят восьмого года ещё поди докопайся — почти тридцать лет прошло. А кто нынче на хороший дом глаз положил — это в нашем городе узнаётся за два дня.

Бабушка молча кивнула.

Спала я плохо. Всю ночь мне снились старые фотографии, пустой конверт и человек без лица, который методично перебирал чужую память, словно карточки в библиотечном каталоге. А утром прозвенел будильник и нужно было идти на работу. До библиотеки я дошла на автопилоте. Всю дорогу мысли ходили по кругу, как трамвай по кольцу, и было ощущение, будто сама всю ночь копалась в чужом архиве. Лучше всего мне думается в библиотеке, когда руки заняты делом: в такие моменты мысли сами постепенно раскладываются по полочкам. Почти как книги. Главное — не мешать им.

Летом в библиотеку ходят за книжками. Зимой — греться. Это разные посетители, уверяю вас. Летний берёт «Анжелику», расписывается и убегает на пляж. А зимний приходит с утра, занимает место у батареи, достаёт термос, разворачивает газету и обживается до закрытия, как на даче. И книжка ему, в общем, не нужна: книжка — это так, входной билет, повод. Нужно ему тепло, общество и возможность чувствовать себя при деле.

Главным моим зимним обитателем был, конечно, Семён Маркович — отставной полковник, божий одуванчик с орлиным самомнением. Ходил ко мне как на службу. Являлся к открытию, вешал пальто, потирал руки и объявлял:

— Таисия, душа моя, я к вам за умственной пищей. Что новенького поступило по линии шпионажа?

По линии шпионажа у нас не поступало ничего лет десять, о чём Семён Маркович знал не хуже меня, но ритуал есть ритуал. Я отвечала, что новенького пока нет, но вот есть прекрасный старенький Юлиан Семёнов, и Семён Маркович, удовлетворённо кивнув, брал Юлиана Семёнова, которого читал, по моим подсчётам, уже в седьмой раз, садился у батареи и погружался — не столько в книгу, сколько в сладкую дрему с книгой на носу. Беда была в том, что Семён Маркович во сне разговаривал. И не просто разговаривал, а — в полном соответствии с читаемым — выдавал военные тайны. Сидит, понимаешь, у батареи приличный пожилой человек, и вдруг на всю читальню громко, отчётливо:

— Явка провалена! Уходите дворами!

Читатели вздрагивали. Новенькие пугались. А я, привыкшая, подходила и тихонько будила:

— Семён Маркович. Семён Маркович. Вы опять явку провалили.

— А? Что? — вскидывался он. — Я не сплю, Таисия, я думаю. С закрытыми глазами лучше думается. Метод такой, разведческий.

— Конечно, — соглашалась я. — Думайте, только потише, а то вы давеча всю агентурную сеть рассекретили, читальня переполошилась.

И Семён Маркович, страшно довольный, что его дрему приняли за разведдеятельность, поправлял Юлиана Семёнова на носу и засыпал думать дальше.

Вторым номером шла Ниночка — моя сменщица, существо девятнадцати лет, с косой, с вечной любовной драмой и с полным отсутствием интереса к книгам как к таковым. Она работала в библиотеке исключительно потому, что сюда «ходит Витька из мореходки», и весь её трудовой энтузиазм был направлен на то, чтобы оказаться у выдачи в тот момент, когда Витька явится менять «Двух капитанов» на «Алые паруса». В эти роковые минуты Ниночка преображалась, розовела и выдавала книги с такой одухотворённостью, будто вручала орден.

В остальное время она страдала, вздыхала и спрашивала у меня совета по сердечным делам, искренне полагая, что раз я старая (мне двадцать семь, но по её представлениям я древность), то в любви разбираюсь.

— Тась, а Тась, — шептала она, навалившись на стойку. — А вот если он книжку сдал и сразу ушёл, не поговорил, — это он остыл, да? Это конец, да?

— Это, Ниночка, значит, что он книжку сдал, — отвечала я. — Не приписывай мужчине переживаний. Мужчина пришёл, сдал книжку и ушёл. Это не драма. Это абонемент.

— Ой, ну ты как бабушка прям, — обижалась Ниночка. — Без романтики.

— С романтикой. У меня в фондах два шкафа, — парировала я. — Бери любой роман и романтизируй. А живого Витьку оставь в покое, он от твоей одухотворённости шарахается.

Она дулась, но Витьку, надо отдать ей должное, в покое не оставляла никогда.

И вот в этом тёплом сонном царстве — дремлющий шпион у батарее, влюблённая Ниночка у выдачи, две-три старушки за подшивками «Работницы», запах старых книг, пыли и снега, который таял на чужих пальто, — я и вела своё тайное расследование. Сидела за стойкой, выдавала «Анжелику», будила Семёна Марковича, утешала сменщицу. Снаружи — тишь да гладь, провинциальная библиотечная скука. А внутри у меня горело так, что удивительно, как чай в стакане не закипал. Потому что я давно заметила: страшные версии лучше всего обдумываются в самых мирных местах. Не в погоне, не в засаде — а в библиотеке. Я машинально штамповала формуляры под Семёна-Марковичево сонное «уходите дворами» и обдумывала вчерашнюю версию.

Искать надо того, кому преступление принесло пользу. Уж этот урок я из книжек усвоила. На дворе девяностые. Бандитские. Убивают не за древние карточки, а за простое и понятное: за деньги, за дома, за землю. А у Викентия дом был завидный: старый, с большой горницей, в самом центре, на горке. И чем дольше я думала, тем убедительнее всё сходилось. Кому-то приглянулся домишко, старик не продавал, упёрся — его и убрали, по-нынешнему, по-простому. Потому что с племянником договориться будет проще. А негативы с банкета шестьдесят восьмого? Ну, мало ли. Может, сам куда сунул, может, для отвода глаз вынули. Почти тридцать лет прошло — кто, в самом деле, станет убивать за то, что было при Брежнев?

Вечером я изловила Данилу и выложила ему свою версию про дом. Он выслушал, переспросил пару мелочей, ненадолго задумался и покачал головой.

— С ходу не скажу, рыжая. Дай мне пару дней.

— Думаешь, узнаешь?

Он усмехнулся краешком рта.

— Я не думаю. Я узнаю.

На этом и разошлись.

Через два дня возле библиотеки коротко просигналила знакомая машина. Я как раз проводила очередную старушку, выслушав историю про бессовестное подорожание сахара, и выглянула в окно. Данила. Сердце, предательское создание, тут же сделало кульбит.

«Не выдумывай, — строго одёрнула я себя. — Ты сейчас выйдешь исключительно за ответом». И сама себе не поверила. Надела пальто и поспешила на улицу к машине.

— Привет, рыжая.

— Привет.

Он молча перегнулся через соседнее сиденье, достал плотный бумажный пакет и протянул мне.

— Держи.

Я заглянула внутрь. Мандарины. Не те мелкие, кисловатые, которые иногда попадались в магазине, а крупные, яркие, с зелёными листочками, пахнувшие так, что вся зима вдруг стала чуть менее холодной.

— Это ещё зачем?

— Затем, что хорошие.

— И что, не нашлось никого, кому они нужнее?

— Нашлось.

— И кто же?

Данила посмотрел на меня спокойно.

— Ты.

Я на всякий случай ещё раз заглянула в пакет. Вдруг там, кроме мандаринов, лежал какой-нибудь другой ответ, который я сумела бы понять без того, чтобы у меня начинали краснеть уши. Не лежал.

— Спасибо, — пробормотала я. — Но вообще-то ты обещал мне другое.

— Обещал, — согласился он и сразу посерьёзnel. — Нет, рыжая. Чисто. На дом никто не метил: место хоть и в центре, а под застройку не идёт — грунт негодный да охранный зона. И из наших к старику никто не подходил. Не за дом твоего фотографа убрали. И не наши. Ищи в другом месте.

И осталась я с пакетом мандаринов и со стройной своей версией, развалившейся в труху. Данила, знавший этот мир изнутри, сказал: не там. А раз не там — значит, всё-таки заглянуть придётся в пустую щель между шестьдесят седьмым и шестьдесят девятым. В ту самую древность, которую кто-то, видимо, унёс из дома и ради которой — если я права — не побоялся оставить человека умирать в этом самом доме.

— Ну и что теперь с вами делать? — спросила я у мандаринов. Они промолчали. Видимо, считали, что свою часть работы уже выполнили.

В библиотеку я вернулась с таким запахом, будто случайно прихватила с собой кусочек Нового года. Первой учуяла Аделаида Эдуардовна.

— Таисия... — Она даже голову подняла от каталожных карточек. — Это что?

— Мандарины.

— Я вижу, что не картошка.

Я молча достала один и положила перед ней. Она посмотрела сначала на мандарин, потом на меня.

— За что?

— За примерное поведение.

— Это вы, Таисия, сейчас очень смело пошутили.

Но мандарин всё-таки взяла. Следующей прибежала Ниночка.

— Ой! Настоящие? Какие красивые! Откуда?!

— Материализовались.

— Тась, ну не издевайся!

— Хорошо. Тогда считай, что Дедушка Мороз немного поторопился.

Ниночка засмеялась, тут же очистила мандарин, вдохнула запах и даже глаза закрыла.

— Господи... Какие сладкие...

Семёну Марковичу я торжественно вручила самый большой.

— Агентуре положены витамины.

Он серьёзно кивнул.

— Правильно. Разведчик без витаминов долго не протянет.

И бережно убрал мандарин во внутренний карман пальто, словно секретный пакет особой важности.

До вечера библиотека пахла мандаринами. Читатели удивлённо принимались, Ниночка ещё раза три вздыхала, что вкуснее ничего не ела, а Аделаида Эдуардовна, конечно же, сделала вид, будто ей совершенно безразлично. Только кожуру сняла так аккуратно, словно проводила особо ответственную библиотечную операцию.

Оставшиеся в пакете мандарины я принесла домой. Мама только заглянула внутрь и ахнула:

— Тася... Откуда столько?

Бабушка даже головы не подняла от вязания.

— От Данилы.

— Ба...

— А что «ба»? Не от Деда Мороза же.

Мама уже чистила первый мандарин. Комната мгновенно наполнилась тем самым запахом, который почему-то всегда обещает праздник. Бабушка наконец отложила спицы, взяла себе мандарин и удовлетворённо кивнула.

— Хорошие.

Потом покосилась на меня.

— Всё-таки есть польза от мужчин, которые рынок держат.

— Он не мой мужчина.

— Пока.

— Бабушка...

— Что «бабушка»? Я только про мандарины. Остальное ты сама додумала.

Я вздохнула и принялась чистить свой. Как бы там ни было, разобраться с собственным сердцем ещё успею. А вот разобраться с чужой смертью хотелось как можно скорее. Раз моя главная версия лопнула, я решила предложить Костику помощь с архивом Викентия — теперь хотя бы было понятно, с чего начинать поиски. Костик за моё предложение ухватился с радостью: ему совсем не хотелось оставаться одному среди тысячи коробок в доме, где недавно умер дядя. А тут — живой человек, который к тому же во всём этом богатстве не видит хлама.

На следующий день я собралась к Костику. Бабушка окинула меня своим рентгеновским взглядом — объяснять ничего не пришлось. Только напутствовала: «Шапку не снимай, там не топлено. И к ужину чтоб дома». Благословение было получено. Так я стала ходить в дом Викентия — разбирать архив. И, конечно, искать. Логика была простая, библиотечная. Конверт с негативами новогоднего банкета за шестьдесят восьмой исчез. Но Викентий был педант, а у педанта на каждую единицу хранения заводится карточка. Унести негативы — это одно. А вычистить всю картотеку, переписать опись, изъять все упоминания — тут ещё надо знать, где что лежит. У ночного гостя, скорее всего, ни времени, ни знания системы не было. Он схватил конверт и сбежал. А система осталась. И система помнила.

— Костик, — спросила я на второй день, — а картотека у дяди как устроена? По годам или по событиям?

— И так и так, — гордо ответил Костик.

За работой он прибодрился и оказался отличным помощником. И таким же архивным маньяком, как я.

— Дядька двойную вёл, — с гордостью объяснил он. — Вот, гляди.

Он выдвинул длинный ящик с карточками.

— Здесь по годам, а внутри каждого года — по событиям. А в другом ящике — по людям, по алфавиту. На каждого своя карточка: когда и где дядька его снимал. Придёт человек, попросит старую фотографию — дядька по фамилии найдёт карточку, а там уже записано, в каком конверте искать негатив.

Двойная картотека — это для сыщика всё равно что для голодного накрытый стол.

Мы вытащили из картотечного ящика учётные карточки за шестьдесят восьмой. На каждой Викентий записывал, когда и что снимал, кого фотографировал и где хранились негативы. Их оказалось столько, что пришлось разбирать на две стопки. Перебирали по порядку: январские ёлки в детских садах. Восьмое марта. Апрельский субботник. Первомайская демонстрация. Девятое мая — встреча ветеранов, возложение венков. Последние звонки, выпускные в

школах. Заезд ленинградской делегации. Работники винзавода — для доски почёта. Открытие новой водолечебницы. Первое сентября. Ноябрьская демонстрация. А между ними — свадьбы, юбилеи, проводы на пенсию, похороны. Викентий, похоже, успевал и женить весь город, и проводить в последний путь, и между делом снять передовиков производства. Мы добрались до декабря, до детсадовских утренников с зайцами и снежинками. И наконец я нашла запись о нужной съёмке.

Вверху учётной карточки значилось: «Декабрь 1968. Новогодний банкет, санаторий. Чествование коллектива. Гости». Ниже Викентий убористо перечислил, кого снимал, — человек сорок, список продолжался на обороте. Я пробежала глазами фамилии, выхватывая знакомые: главврач Добровольский с супругой — Добровольской С. П., практикант Полозков Э., следователь Кречетов Г. Н.

— Костик, а фотографии с этого банкета где? — Я отложила карточку. — Негативов нет, но он ведь с них печатал?

— Конечно. В альбоме должны быть.

— За шестьдесят восьмой?

Костик посмотрел на полку, потом обернулся к письменному столу.

— Так он же здесь.

Альбом лежал под стопкой бумаг. Костик снял их и потянул тяжёлую обложку на себя.

— Дядька с ним работал, когда выставку готовил. Фотографии вынимал, пересматривал. На полку так и не убирал. Я когда в последний раз приходил, он тут открытый лежал.

Мы долистали до декабря. На альбомной странице стояла надпись: «Новогодний банкет». А над ней — пустые уголки для фотографий. На следующих страницах тоже. Дальше снимки снова шли своим чередом.

— Костик...

— Я не вынимал. — Он провёл пальцем по пустой странице. — Я и внимания не обратил сразу. Думал, дядька для выставки отложил.

Мы проверили бумаги на столе, заглянули в ящики. Снимков банкета не было. Выходило, пропали и негативы, и отпечатки. Впрочем, фотографии Викентий ещё мог убрать отдельно. Но совпадение мне совсем не нравилось. Чтобы понять, чего именно не хватает, я вытащила соседние альбомы — за шестьдесят седьмой и шестьдесят девятый. Банкеты там были на месте: длинный стол, транспарант «С Новым годом, товарищи!», и во главе стола, под транспарантом, — грузный человек с бокалом, а рядом с ним дама с камеей. «Добровольский, — подтвердил Костик. — С супругой. Дядька эти банкеты всегда с торца снимал, чтоб транспарант влез. Вон — и в шестьдесят седьмом хозяин во главе, и в шестьдесят девятом». Я отметила про себя: хозяин — во главе. Мало ли, пригодится, если снимки шестьдесят восьмого всё-таки найдутся.

— А про сам банкет дядя ничего не говорил? — Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно. — Ты сказал, что он негативы рассматривал. Может, тогда что-нибудь упоминал?

Костик наморщил лоб.

— Бормотал что-то. Под нос. Я почти ничего не разобрал, только имя женское... То ли Зоя, то ли Зина. Кажется, «Зоя, Зочка». И головой качал. Я ещё подумал: знакомая какая-нибудь. Только ты уж за Зою не цепляйся, я не поручусь. Тихо он говорил.

Зоя. Или Зина. Я достала тетрадку — ту самую, которую вела летом, — записала оба имени и поставила рядом вопросительный знак.

— Погоди. А в списке?

Я снова взяла учётную карточку банкета. Теперь читала подряд, не пропуская незнакомых фамилий. Женщин с инициалом «З.» набралось пять.

— Богато, — сказала я. — А полные имена у него где-нибудь есть?

— В другой картотеке. Там по людям.

Костик выдвинул второй ящик. Здесь на каждого человека была своя учётная карточка со ссылками на съёмки. Расставлены они были по фамилиям — и теперь мы знали, какие искать.

Я называла фамилии из списка, Костик находил карточки и выкладывал на стол. Получились две Зинаиды, две Зои и одна Зульфия.

— Всё-таки Зоя, кажется, — сказал он, глядя на них. — Зочка. Вот так он сказал.

— Тогда с Зои и начнём.

На одной карточке съёмки были семейные: свадьба, юбилей. На другой значилось:

«Карасёва Зоя, медсестра. См. 1965 (заезд), 1966 (коллектив), 1967 (Первомай)».

Я придвинула к ней список банкета. «Карасёва З.» — вот, почти в самом конце оборота. В первый раз я проскочила эту строчку, даже не задержавшись.

— Давай сначала её посмотрим. Видишь, санаторий, коллектив. Он её не один раз снимал.

Остальные карточки я отложила рядом: до них тоже надо было добраться.

Мы взяли альбомы за шестьдесят пятый, шестой и седьмой. Раскрыли первый, отыскиали заезд. Эти фотографии были на месте. В следующих двух — тоже. Я осторожно вынула из уголков групповой снимок санаторского коллектива за лето шестьдесят шестого.

Два ряда людей в белых халатах, шуряты на солнце. И в нижнем ряду, с краю, — девочка. Совсем молоденькая, тоненькая, глазастая, в косынке набекрень. Пока все вокруг честно держат казённое выражение лица — «снимаемся для доски почёта», — она одна смеётся. Открыто, во весь рот, запрокинув голову, будто за миг до щелчка кто-то сказал ей что-то ужасно смешное. Живая до невозможности среди гипсовых.

Я перевернула снимок. На обороте Викентий указал: «В нижнем ряду крайняя — Зоя К., медсестра». А следом приписал: «Сестричка. Смеётся — будто солнце в палату занесли. Жалко будет, если обломают». Надо же. Для кого-то у него и такие слова находились. Я ещё раз посмотрела на девочку в косынке и осторожно вернула фотографию в уголки. Теперь мне хотелось узнать, как у неё сложилась жизнь. Даже если Костик ослышался и дядька бормотал совсем другое имя.

Я записала Зоину фамилию и годы съёмок, потом перевернула страницу тетрадки и принялась переписывать список участников банкета. Целиком. А то удобно я устроилась: знакомых заметила, остальных пролистнула. Между тем Викентий мог увидеть на тех негативах кого угодно.

Переписав последнее имя, я вернулась к знакомым фамилиям. Напротив Кречетова пометила: «Гость. Следователь». Напротив Добровольского — «Хозяин. Поговорить с Серафимой Павловной». Напротив Полозкова — «Практикант. Нынешний директор». По крайней мере, теперь было понятно, с кого начинать расспросы.

Я перечитала написанное. За тем столом собралась целая компания людей, чьи имена и теперь произносили в городе с уважением. К кому ни сунься — должность, заслуги, репутация. А у меня из оснований для расспросов — пропавший конверт, пустые уголки в альбоме и имя, которого Костик толком не расслышал.

«Ну ты, рыжая, и замахнулась, — сказала я себе. — Ты читателю за просроченную книжку замечание сделать стесняешься, а тут таких людей расспрашивать собралась. В прошлый раз хоть бандиты были. А теперь сплошь приличные люди. Ещё и извиняться придётся за каждый вопрос». Но я уже знала по летнему делу, как это бывает: сначала несколько разрозненных записей, а потом потянешь за ниточку — и вытянешь такое, что лучше бы и не тянуть.

Закончив с записями, я сунула тетрадку поглубже в карман рядом с ингалятором и пошла домой к ужину, как велела бабушка. По скрипучему снегу, под колючими звёздами, мимо тёмного моря, думая о женщине по имени Зоя, которую я никогда не знала. Её ли вспоминал Викентий, разглядывая тот банкет? И что с ней стало?

В дом Викентия я теперь ходила каждый день — и не только из-за дела. Из-за Костика тоже. Он привязался ко мне быстро. Наверное, потому, что одинокие люди вообще легко привязываются. Особенно если их не жалеют и не считают дураками. Костик был старше меня лет на восемь, ростом и силой — как две меня, а внутри жил растерянный мальчишка, оставшийся без единственного на свете родного человека и не знающий, как теперь быть.

К моему приходу Костик теперь заранее растапливал печку. Я замечала, как он проверяет заслонку, а потом, уже отойдя, оглядывается на неё ещё раз. Ничего не говорила. В старом доме становилось тепло, пахло нагретым деревом и бумагой. Я снимала пальто, разматывала шарф, клала сверху шапку с помпоном — и с каждым разом всё охотнее устраивалась за столом. За окнами мело, а здесь потрескивали дрова, шелестели страницы и можно было спокойно перебирать снимки, не дуя на пальцы после каждого альбома.

Костик ставил чайник, заваривал чай — такой крепкий, что ложка стояла («дядька так пил»), — и разливал по железным кружкам. Мы освобождали для них два пяточка среди конвертов и коробок, и за чаем он начинал рассказывать. А я слушала. Иногда просто потому, что ему нужно было говорить. А иногда потому, что среди воспоминаний вдруг всплывала какая-нибудь мелочь, которая могла оказаться совсем не мелочью. Рассказывал Костик хорошо: улыбался, вспоминая дядькины выходки, даже смеялся порой — и сам словно удивлялся, что ещё может. В такие минуты мне было жаль его до щемоты.

— Меня дядька семилетним взял, — говорил Костик, бережно протирая тряпочкой какой-то старый объектив. — Мать померла, отца отродясь не было, я и пошёл по рукам, как котёнок. Все брать боялись — лишний рот, оболтус. А дядька взял. Не потому что добрый. Он не добрый был, ты не думай. Он меня в первый же день оглядел и говорит: «Толку с тебя, конопатого, не будет, но и пропадать дитю не дам, не по-людски. Будешь при мне. Только не ной и под руку не лезь».

— И как? — спросила я.

— А так и прожили. — Костик грустно усмехнулся. — Двадцать восемь лет. Он меня ни разу — слышишь, Тася, ни одного разу за двадцать восемь лет — не похвалил. Ни-ког-да. Скажу, бывало: «Дядь, гляди, какой я кадр снял!» А он посмотрит и: «Заваленный горизонт. Резкость на ухе, а надо на глазу. Переснимай». И всё. Всю жизнь так. Я уж и привык, что я бездарь и руки-крюки, он мне это с детства вдалбливал.

Я слушала и думала: острый язык — это, конечно, здорово, пока им не проходятся по ребёнку. Взрослый хоть огрызнуться может, а этот что — стоял и верил, что всё у него не так? Вот же злобный старикан. Я уже почти разозлилась на покойного Викентия, как Костик вдруг отложил объектив, встал, порылся в дядином столе и вытащил толстую, перевязанную бечёвкой папку.

— Я после похорон, — тихо заговорил он, — в дядькином столе вот это нашёл. В нижнем ящике, под замком. Думал — документы, деньги, что важное. Открыл...

Он развязал бечёвку. И я увидела, что в папке лежали Костики рисунки. Детские. Кривые человечки, кораблики, собаки с пятью лапами — всё то, что рисует семилетний оболтус, попавший к незнакомому сердитому дяде. Аккуратно разложенные по годам. Подписанные дядиной рукой: «Костя, 7 лет», «Костя, 8 лет», «Костя, 9 лет». А дальше — школьные табели (с тройками, обведёнными, но сохранёнными), первые Костики фотокарточки, кривые — те самые, которые дядька велел «переснять». На обороте одной: «Первый Костин кадр. Горизонт завален. Но свет поймал. Будет толк».

«Будет толк». Он написал это много лет назад. И ни разу не сказал вслух.

— Понимаешь, Тася? — Подбородок у Костика задрожал, как у ребёнка. — Он хранил. Всё. Каждую мою каракулю. Много лет хранил, под замком, и молчал. Любил, выходит. А я не знал. Думал — обуза я ему, терпит из жалости. А он... — Костик не договорил, отвернулся, и плечи его, богатырские плечи, затряслись.

И я, дура рыжая, тоже зашмыгала носом, потому что это было невыносимо — этот огромный плачущий человек и эта папка с кривыми корабликами, которую желчный старик прятал под замком, как сокровище.

— Он точно тебя любил, — сказала я, когда смогла. — Просто не умел сказать. Есть такие люди. Им похвалить — что себе палец отрезать. А любят — молча. На обороте.

— На обороте, — повторил Костик и неожиданно засмеялся сквозь слёзы. — Это да. В этом дядька весь. Он и любовь свою на обороте писал, как все свои подписи. Главное — в кадре улыбка, а правда — сзади, мелким почерком.

В тот вечер я поняла то, что и так уже чувствовала: не верю я, что Костик дядьку убил. Не верю — и всё. Так не плачут над папкой с детскими рисунками те, кто подвинул заслонку ради дома и аппаратуры. В любом детективе первым делом нужно выяснить, кому выгодно. А вот оно, это «кому выгодно», сидит передо мной огромное и рыдает над собственными корабликами. Да он бы и дом, и аппаратуру отдал, лишь бы дядька сейчас вошёл и опять начал придираться. Потому что ему этот дом без дядьки — что мне библиотека без книг. Пустые стены.

— Костик, — позвала я. — А давай так. Я тебе дядьку твоего помогу... ну, не вернуть, вернуть нельзя. А оправдать. Чтоб про его смерть не говорили: «Угорел старик по неосторожности». Чтоб правду узнали. Чтоб того, кто это сделал, взяли. Это я тебе обещаю. Слышишь? Рыжее слово.

Костик посмотрел на меня своими мокрыми детскими глазами на богатырском лице.

— А ты сможешь, Тася? — спросил он с такой верой, что мне сделалось страшно эту веру обмануть. — Ты ж маленькая. И в очках. И астма у тебя ещё.

— Смогу, — ответила я твёрдо, хотя в груди у меня в этот самый момент предательски засвистело. — Я, Костик, маленькая, в очках и с астмой. Но я однажды уже одного поймала. Маленькие, они, знаешь, цепкие. Нас недооценивают — вот мы и пролезаем туда, куда больших не пускают.

И мы скрепили уговор крепким чаем — за дядьку, за правду и за то, что у каждого из нас теперь есть с кем нести своё. Так и потекли мои дни. С раннего утра — архив Викентия. Потом — библиотека, где я пыталась разложить в голове по полочкам всё, что успела узнать. Но стоило вернуться домой, как появлялся Тихон.

Беда с отцом заключалась в том, что он очень хотел быть полезным. Это, казалось бы, хорошее качество. Но когда человек двадцать семь лет не был полезным абсолютно никак, а потом вдруг решает наверстать всё разом, причём в сжатые сроки, потому что чувствует, что времени осталось немного, — получается не польза, а стихийное бедствие средней руки.

Тихон поселился в гостинице, но к нам ходил каждый день — сначала несмело, потом всё уверенней, потому что бабушкина оборона хоть и держалась, но по краям подтаивала. Он чинил всё подряд, нужное и ненужное: подтянул кран, который у нас, между прочим, не тёк, наладил тот самый давящийся звонок (теперь он давился чуть бодрее), приклеил ножку у табуретки так, что табуретка стала качаться сильнее прежнего. Тихон рвался готовить и однажды сварил огромную кастрюлю борща — такую, что хватило бы на роту. И борщ, надо признать, был недурён, только бабушка из принципа ела его с таким лицом, будто совершала акт гражданского мужества.

А потом он пронюхал, что я «балуюсь сыском». Конечно, через бабушку — она в сердцах обронила что-то про «опять рыжая влипла, теперь вон к мёртвому фотографу повадилась». Хотя сама же меня к этому и подтолкнула. И всё. Глаза у Тихона загорелись мальчишеским азартом. Я прекрасно понимала, что не расследование его заинтересовало. Вернее, не только оно. Ему наконец подвернулся законный повод проводить со мной больше времени, и упускать такой шанс он явно не собирался.

— Тася, — окликнул он меня в прихожей и понизил голос до заговорщицкого. — Я слышал. Ты это... расследуешь? По-настоящему?

— Папа, — начала я (слово «папа» всё ещё царапало мне язык, я выговаривала его, как иностранное), — я ничего не расследую. Я книжки выдаю.

— Не ври отцу, — попросил он с неожиданной мягкостью. — Может, я и никудышный, Тася, спорить не буду. Но тебя... я ж на тебя смотрю который день. У тебя, когда ты думаешь, бровь вот так. — Он показал. И показал точно — мою бровь, мой собственный жест. Я опешила. — Это моё. Я тоже, когда что-нибудь интересное учую, так делаю. Возьми меня в помощники. Пригожусь, вот увидишь. Я знаешь какой ловкий был?

— Даже боюсь представить.

— Нет, ты представь! В молодости...

— Ты был ловкий по части удрать, — вырвалось у меня.

Сказала — и сразу пожалела. Потому что Тихон не обиделся — принял это, как принимают заслуженный удар: чуть опустил голову, кивнул.

— Был, — отозвался тихо. — Что было, то было. Дай хоть теперь попробовать не удрать.

И я сдалась. Не потому, что поверила в его сыщицкие таланты. А потому, что не смогла отказать человеку, который вёз мне через полстраны куклу.

Мне нужно было поговорить со старыми санаторскими — теми, кто работал ещё в шестидесятых и мог помнить Зою. Начать я решила с бывшей сестры-хозяйки, бабы Вали, древней, тугой на ухо, но, по слухам, всё помнящей. И продумала подход: тихо, по-соседски, про здоровье, про погоду, исподволь свернуть на старые времена. Тонко. Осторожно. По-умному. Я же училась: читала детективы, а жизнь вносила поправки. Тихон испортил всё за тридцать секунд.

Мы пришли к бабе Вале вдвоём. Я открыла рот, чтоб завести про погоду, а Тихон, сияя, как медный таз, шагнул вперёд и с порога выдал:

— Здравствуйте, хозяйюшка! Мы вот тут с дочкой давнюю историю распутываем, не подскажите ли — работала у вас в шестидесятых медсестричка Зоя Карасёва?

Я закрыла глаза. Всё. Конец. Мой тонкий психологический подход только что пал смертью храбрых. Это в нашем деле называется «спалить всю операцию первой же фразой». Так делается только в том случае, если очень хочется, чтобы дверь захлопнулась раньше, чем ты успеешь представиться. Дверь и закрылась бы — у любой нормальной свидетельницы. Но тут вышла промашка мироздания в нашу пользу. Баба Валя, тугая на ухо, нашу «давнюю историю», кажется, пропустила. Зато разглядела перед собой невысокого приятного мужчину с виноватыми глазами и обаятельной кривой улыбкой — и этот мужчина ей, видать, чем-то приглянулся. Может, тем, что улыбался ей, древней старухе, как улыбаются красивой женщине. У Тихона это, я заметила, выходило само собой — он на любую женщину смотрел чуть-чуть влюблённо. За это, видно, моя мама когда-то его и полюбила. И вот за это же и не смогла простить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.